

Игорь Потоцкий

## Стихи о моей еврейской родне

\*

Двенадцать моих родственников погибли в Лодзинском гетто.  
Среди них были адвокаты, ремесленники, домовладельцы,  
один приказчик, красивая девушка Голда. Перед рассветом  
их вывели на площадь и расстреляли.  
Говорят, Голда смеялась перед расстрелом.  
Ее дядя Соломон кричал, что он не боится смерти.  
Осеннее небо заплакало и посерело.  
Двенадцать моих родственников обрели бессмертье.  
Они, как и другие, стояли перед расстрельной командой,  
и даже неверующие молились вечному богу.  
Они устали от страха – смерть всегда находилась рядом,  
каждый из них столетие носил тревогу.  
Дядя Соломон призывал проклятия  
на головы солдат, офицера, остальные молчали.  
Дядя Соломон кричал: немцы, вы спятели,  
но считайте, что ваши души навечно пропали!  
Красивая девушка Голда могла стать любовницей  
начальника гетто, он ее добивался долго.  
Она его отвергла, назвав уродом,  
и тогда он велел собрать всех ее родственников.  
Я не знаю, кем мне была девушка Голда,  
двоюродной или троюродной тетей. Это неважно!  
Она стояла перед расстрельной командой  
легкой, красивой, стройной, бесстрашной.  
Эта девушка Голда мне часто снилась.  
У нее были огромные глаза, и ее тело

переливалось всеми цветами радуги,  
при этом, как зимняя вьюга, звенело.  
Я ей одной рассказывал свои секреты,  
она мне давала советы не слишком часто.  
Она была светлой и нежной. Ей было двадцать.  
В нее влюблялись. Она не успела влюбиться.  
Я однажды долго гулял по Лодзи, и со мною  
гуляли тени двенадцати моих родственников,  
погибших в Лодзинском гетто. Я плакал над ними,  
а девушка Голда просила меня: не плачь!

\*

Мой дед Борис из Лодзи, бабушка Циля из Балты.  
Дед был революционером, бабушка верила в черта.  
Общим языком у них был идиш со дня свадьбы.  
Все слова на идиш они выговаривали четко.  
Дед работал на джутовке начальником переплетного цеха,  
по вечерам он читал бабушке Юлиана Тувима.  
Дед не стремился к богатству,  
дед не стремился к успеху  
и никогда не был ангелом и херувимом.  
У деда Бориса и бабушки Циля две дочери,  
они приглашают друзей и под патефон танцуют.  
Пишут в дневниках непутевые строчки,  
смеются и очень часто рискуют.  
Дед никогда не произносит фамилии Троцкого,  
но и Сталина он никогда не превозносит.  
Он уверен, что в жизни много уродского,  
но как прекрасна ранняя осень.  
В 41-м дед записывается в ополчение.  
Бабушка плачет. Бабушка его не отпускает.  
Дед вырывается. Над его головой свечение.  
Бабушка его целует и ладонью лицо ласкает.  
Грохот артиллерии. Шквал бомб и снарядов.  
Дедушка в окопе по фрицам стреляет.  
Смерть с косою находится совсем рядом.  
Дедушке порой воздуха не хватает.

Бабушка с дочерьми оказывается в Ташкенте.  
Дедушка ранен, он их находит.  
Яркое солнце над Ташкентом светит,  
спелая луна ночами по крышам бродит.  
Дедушка снова воюет, бабушка плачет.  
Моей маме и тете совсем не весело.  
Они уже знают, что многие их родственники  
стали пеплом. Они плачут и плачут.  
Дедушка умер в пятьдесят третьем,  
он пережил Сталина на четыре дня.  
Плакали капли дождя на рассвете  
вместо меня.  
Я был слишком маленьким...

\*

Мой родственник Соломон Фриман любил шипучие вина  
и еще рассказы о женщинах, они бросали его постоянно.  
Я понимал этих женщин – Соломон был слишком разговорчив,  
остановить его было невозможно, я быстро сдался.  
Он был маленьким и толстым, мечтал о высоких красотках,  
вечно ругался со своей второй женой Дусей.  
У него тогда была великолепная борода,  
и в глазах его совсем не было грусти.  
Он цеплялся к женщинам, как пиявка,  
он пел арии из опер, безбожно фальшивя.  
У него была воображаемая любовница Славка,  
она была замужней, но по субботам грешила.  
Соломон упивался рассказами о высокой леди,  
бывшей баскетболистке, под два метра.  
Этой воображаемой Славкой он долго бредил,  
хотя она состояла из облаков и ветра.  
Он говорил: она – гойка, но это я ей прощаю,  
она всегда бесподобна в постели.  
И после каждой любовной сцены я ее угощаю  
шоколадными конфетами, я при деле.  
Из него получился бы замечательный сатирик,  
он умел смеяться над собой и судьбою.

Мне всегда казалось, что он – прирожденный лирик,  
но он ничего не записывал – просто трепался.  
Потом он уехал в Австралию с противной Дусей,  
оставив мне воспоминания о милой Славке,  
которая на него продолжала дуться  
и часами в парке сидеть на лавке.  
Он просил ей позвонить, но забыл мне оставить  
номер ее телефона, только сказал, что она в Одессе.  
Я не получил ни одного письма от Соломона,  
значит, ему хорошо. Остальное – неважно.  
Но мне до сих пор не хватает его рассказов о Славке...

\*

Мой дядя Наум собирал телевизоры и был хасидом.  
Он радовался жизни и своим женам, трем сразу.  
С двумя он развелся, а третья его пилила,  
говорила, что зря за него вышла замуж.  
Она была тонкой и высокой, кричала, как птица,  
но потом целовала дядю Наума, просила прощенья,  
говорила, что только его любит – и точка.  
Дядя Наум приходил к своей сестре Циле  
по воскресеньям, они вишневую пили наливку  
и вспоминали Балту. Им нравились воспоминания.  
Дядя Наум был маленьким, но шустрым. Он носился  
по Одессе, как солнечный зайчик. Чинил телевизоры  
и радиоприемники, а еще утюги и настольные лампы.  
Он читал Менделе Сфорима. Всю жизнь только одну книгу.  
И ходил к хасидскому ребу за утешеньем, а потом  
навещал двух своих первых жен и вместе с ними плакал  
над загубленной жизнью. И приносил подарки  
своей жене и сестре – моей бабушке Циле.  
На дни рождения дяди Наума собирались все родственники.  
Три жены сидели рядышком. Все ели и пили.  
И говорили, что хорошо жить в Одессе.  
А потом тетя Роза уехала к кенгуру, дядя Леня в Нью-Йорк,  
тетя Ида в Оттаву. И у меня почти никого не осталось в Одессе.

\*

Мой прадед Барух Клигман учился в Венском университете на философском факультете, его называли в честь Спинозы. Был он юн и строен, и мудр, и светел, знал, что существуют на свете дождинки-слезы. Он выступал за всеобщее братство, за вечное на планете лето. Его не любило университетское начальство, исключило из университета с волчьим билетом. Его выгнали из Австрии. Он написал: жизнь – как речка, всякий раз меняющая свое течение. Он оказался в забытом богом местечке, но оно, как ему показалось, имеет свечение. Он женился на моей прабабушке. Копался в огороде. Родились две дочки. Местечко набило оскомину. Дедушка уехал в Париж. Там до сих пор бродит тень его, повторяющая, как заклинание: хочу на родину! Там он снова женился на добропорядочной Саре, учился заново, стал раввином отменным. Он записал в тетради: каждый сам себе барин. После строчки: сегодня долго бродил над Сенной. Мой прадед Барух Клигман был подрублен войною, он не вернулся из гетто. Никто из семьи не выжил. Он что-то писал в тетради перед каждой зарею, но та тетрадь пропала – растворилась в Париже. Он был хорошим раввином, строгим и мудрым, у него от двух жен было пятеро нежных дочек. Троице из них он часто покупал книги и куклы, и каждой из них посвящал по пятнадцать строчек. Он помогал сирым, больным и увечным, голос его никогда не срывался в гнев. Он размышлял постоянно, что значит *вечность*, как к ней относятся Юг, Восток, Запад и Север. Он бродил по Парижу, читая Гюго и Верлена, он не знал, что я напишу о нем стихотворение. Горькое стихотворение, как убитое еврейское местечко, оплаканное ветрами, дождями, длинной метелью.

\*

Дядя мой Мойша Грубер имел четырех детей,  
он работал грузчиком в мебельном магазине.  
Мне кажется, что не было его добрей и светлей,  
а он любил небо и воздух прозрачно-синий.  
Он повторял часто: евреи всегда на добро  
отвечают добром, улыбаются солнцу и ветру.  
Он не копил золото и серебро,  
а только осень, зиму, весну и лето.  
Ходил в старенькой шляпе осенью и зимой,  
покупал детям халву, шоколадки, конфеты.  
Ишачил в две смены, но, приходя домой,  
обязательно просматривал «Литгазету».  
Никого не поучал, ни на кого не серчал,  
любил тетю Розу, дарил ей цветы и вздохи.  
Читал книги по истории. Порой ворчал,  
что простым людям всегда достаются крохи.  
Он не ходил в синагогу. Любой музей  
обходил стороной, смеялся басом.  
Выводил в выходные на прогулку детей,  
придумав для них волшебника Делабаса.  
Делабас был славным. Любил котов и мышей,  
собирал почтовые марки и монеты.  
Делабас был загадочен, как Кощей,  
переплывающий брассом речку Лету.  
Дети говорили: рассказы твои класс,  
и прогулки с тобою на пятерку с плюсом.  
А Мойша Кригман про себя думал: стараюсь для вас,  
и невероятно раздувал свое пузо.  
Дети стали большими. Один из них врач,  
второй – коммерсант, две дочери – авантюристки.  
И уже внуку Мойша Грубер твердит: не плачь –  
волшебник Делабас от нас совсем близко.  
Он из бумаги делает бороду и усы,  
надевает старый сюртук и невероятные брюки.  
На губах его играет улыбка лисы,  
когда он танцует танец буги-вуги.

Внук хлопает в ладошки. Плюшевый медведь  
ухмыляется. Гасится свет, загораются свечи.  
На любой вопрос малыша у Мойши найдется ответ.  
...Сейчас вечер.

\*

Моя мама Рая любила папу Иосифа.  
Ее присутствие поднимало его настроение.  
Папа был старше мамы на восемь лет.  
Он спрашивал:  
– Неужели не знаешь, как ты прекрасна?  
– Повтори свой вопрос, – просила мама.  
Иногда они целовались на одесских улицах,  
но пытались скрыть свои поцелуи.  
Папа воевал три страшных года.  
– Хорошо, что я тебя тогда не знала, –  
говорила моя молоденькая мама.  
Она звонко смеялась и учила  
папу танцевать вальс,  
но у него не получалось.  
– Ты совсем не стараешься, –  
с упреком говорила мама.  
Папа уходил на балкон,  
иногда вместе со мною.  
– Что вы там делаете? –  
спрашивала моя красивая мама.  
– Слушаем голоса деревьев.  
Одесса залечивала свои военные раны.  
Мама улыбалась папе,  
а он посылал ей ответную улыбку  
и говорил мне:  
– Как твоя мама прекрасна!  
А я ему верил.

